

АНДРЕЙ УБОГИЙ

В СТРАНЕ РАДОСТИ

Звуки

Индия оглушает. И, прежде всего, в прямом смысле: своим уличным шумом. Кажется, звуков здесь больше, чем может вынести ухо и вместить оглушённый, растерянный мозг. Первым желанием для непривычного человека является детски-наивное: закрыть уши руками.

Клубящийся уличный шум состоит из гудков моторикш и рёва автомобильных моторов, пронзительных криков лоточников и зазывал у дверей магазинов, скрипа колёсных повозок, звона бубенчиков, бряцающих всюду, где только их можно подвесить, из барабанной раскатистой дроби и гула фанфар, которые сопровождают любое из многочисленных уличных шествий — да ещё, в довершение всего, из шипенья и взрывов петард, которые словно пытаются возвести этот шум, эту всю какофонию уличных звуков в какую-то уж совсем запредельную, степень. Кажется, мозг вот-вот взорвётся, и ты, как контуженный, поплывёшь на волне комариного тонкого звона — предвестника полной уже глухоты...

Но, как ни оглушает, как ни потрясает обилие уличных звуков в какой-нибудь жаркий, расплавленный полдень — но главное звуковое своё представление Индия приберегает под вечер. Как только смеркается, и назойливый, сам себя оглушающий уличный шум понемногу слабеет — по улицам начинают двигаться свадебные процессии. Бумага, конечно, не передаст того, что хотел бы выразить автор — в этом месте ему надо бы заорать и затопать ногами, загрохотать половником о пустую кастрюлю или сделать ещё что-либо дикое — и то он едва передал бы десятую долю свадебного звукового безумия. Всё то, что написано выше об уличном шуме, надо удвоить, а то и утроить — вот это и будет индийская свадьба.

Впереди всей процессии быстро идёт фейерверкер, через каждые два десятка шагов выставляющий очередную ракету-шутиху, искры и взрывы которой рвут в клочья небо. За фейерверкером тяжкою поступью движется свадебный слон. От его грузного топота содрогается грунт, и щекотная дрожь пробирает тебя от подошв до коленей; когда же, случается, искра от фейерверка попадает слону на хобот, то страдающий рёв — как гудок паровоза! — сотрясает густую, дрожащую от напряжения ночь...

За слоном, на колёсах, чихает бензином и катится дизель-электростанция: без неё не горели бы сотни ламп и гирлянд, озаряющих шествие. Она тоже стара и громоздка, как слон; вот только, если искра попадёт вдруг в лоснящийся, масляный дизель, то раздастся не рёв — оглушительный взрыв. Но это, похоже, никого здесь не пугает: судьбе — то есть карме — индусы доверяют больше, чем технике безопасности.

За дизелем пёстро колыхается вся остальная, гудящая, танцующая и барабанящая свадебная процессия. Интересно, что парни танцуют отдельно от девушек, в своей собственной, шумно-подвижной и возбуждённой, толпе. Группа же девушек, что идёт следом, много сдержанней, тише; но девушки, уступая в развязности танца, берут ослепительной яркостью бус и браслетов, расцветками шёлковых сари — звучность ярких цветов перекрывает, как кажется, и завывание дудок, и дробь барабанов.

В процессии видишь ещё много кого. И женщин, на чьих головах установлены как бы огромные люстры; и деток, несущих гирлянды цветов; и накрытых цветными попонами мулов, которые медленным шагом везут карету с молодожёнами. Жених и невеста кукольно неподвижны, нарядны — и чем-то похожи на изваяния индуистских богов. Им сейчас и поклоняются, словно богам: ведь это в их честь так гудит и грохочет вся свадьба. . .

Нет, странно всё-таки дело — описывать звуки. Но без этого Индию не показать; даже глядя на фотографии, чувствуешь, как этим плоским картинкам не хватает ещё одного измерения — звука. Зато, вспомнив звук, вспоминаешь и всё остальное; вот ещё разве что запахи столь же уверенно открывают закрытые двери памяти.

Какие же звуки Индии вспоминаются чаще всего? Ну вот, скажем, звуки утренней стирки на Ганге: я впервые услышал их в Варанаси, древнейшем из древних городов человечества. Солнце только что встало, гладь реки из матово-серебристой сделалась розовой — и по всему берегу, как орудийная канонада, захлопали звонко-тугие удары белья о прибрежные камни. Сначала слушаешь их как-то вполуха, рассеянно; но, когда вспоминаешь, что этим утренним звукам — многие тысячи лет, начинаешь внимать им с глубоким волнением. Кажется, ты сколзишь сейчас в лодке внутри огромного барабана длиной в несколько километров, чьим резонатором служит сама гладь священной реки — барабана, без сочно-отрывистой дроби которого не сможет проснуться и расцвести новый день.

А визги и крики детей, что играют в бейсбол? Или то, как по-птичьи щебечут неугомонные обезьяны в шевелящейся от их прыжков кроне дерева? А то, как буддийский монах поёт мантры под деревом Бодхи — и эти рычащие, львиные звуки так утробны и низки, что по коже твоей пробегает озноб?

Вспоминать и описывать звуки Индии можно долго, но нельзя не вспомнить о главном из них — человеческой речи. То, что наши с индусами языки произошли от единого индоарийского корня, знаешь не только из книг — это чувствуешь, слушая, как звучит хинди. Сам напевный строй речи, живая её мелодичность, её мягкость и вместе с тем как бы упругость так близки и понятны славянскому уху, что не остаётся сомнений: мы с индусами братья по языку. Случалось, ещё не вполне пробудившись от сна, слышать сквозь тонкие стены дешёвых гостиниц оживлённые разговоры где-нибудь в холле или в коридоре — и всегда мне мерещилось, что говорят по-русски: казалось, стоит лишь вслушаться, и начнёшь понимать, о чём идёт речь. Согласитесь, что так обмануться можно, лишь слушая родственно-близкий язык: речь китайца или эскимоса не показалась бы близкой даже спросонья.

Тот же самый эффект возникал, когда, лёжа на полке вагона, ты слушал, как женщины расппевают религиозные гимны — протяжностью и мелодичностью очень напоминавшие наши народные песни. Они пелись самозабвенно и долго, на широко и лёгком дыхании — в котором ты чувствовал радостно-детскую душу индусов. Но о детской душе скажем ниже — это, может быть, главное из индийских открытий — а пока не забудем сказать и о том, из чего звук рождается: о тишине.

Тишина Индии тоже необыкновенна — в том числе, своей редкостью в такой, в целом, шумной стране. Тишина, например, Оленьего парка в Сарнатхе — когда, после шума и сутолоки Варанаси, вдруг попадаешь в пространство покоя: здесь слышны даже взмахи крыльев порхающих бабочек, а, скажем, шорох бегущего бурундука оглушает, как шум накатившего поезда. . . Тишина здесь густа, глубока и почти осязаема: воспринимаешь её не как простое отсутствие звуков — а как, напротив, наполненность мира каким-то особым, вещественно-плотным покоем.

Или тишина Ришикеша — городка на Ганге, ставшего мировую столицу йоги. На рассвете, когда ещё не проснулись нищие-садху, лежащие здесь вдоль дорог в одеялах, как серые свёртки, когда спят обезьяны, коровы, со-

баки – когда спит даже Ганга, по глади которой не видно кругов от кормящейся рыбы, – тишину нарушает лишь ветер, стекающий с гор, да шорох песка по пустынному пляжу. И здесь, наблюдая, как из ночной тишины зарождается новый, наполненный звуками день, вдруг понимаешь, что Индия может так оглушительно-громко шуметь – потому что в душе у индусов есть очень глубокий запас тишины. И внешний, такой карнавалльно-эффектный и взбалмошный шум нарушает индийскую жизнь только лишь на поверхности – так волна, что бежит по поверхности моря, ничуть не тревожит морской глубины.

Стоит это понять и принять, как меняется и отношение к здешнему шуму. С удивлением вдруг замечаешь, что звуки Индии больше не раздражают – а, напротив, начинают тебя успокаивать, чуть ли не усыплять. Ибо это звучит сама жизнь, сам её пёстрый, клубящийся, мутный – но, в итоге, всегда благотворный, всегда исцеляющий душу, поток...

Запахи

А ещё Индия – страна запахов. С них она и начинается для любого приезжего – с первого вдоха в Делийском аэропорту. Сладковатый, живой запах кизячного дыма так удивителен для мегаполиса – скорее, это запах родных для меня южнорусских степей – что, когда выходишь из здания аэропорта, то кажется, что вот-вот, вместо гула и тасованья машин, встретишь что-то родное, из детства: может быть, костерок у реки или вздохи, мычанье и топот бредущего с выпаса стада.

Вообще, запахи Индии так перемешаны, так сплетены, что почти невозможно вычленишь что-то отдельное. Так, в запахе улицы всегда перемешана вонь нечистот – и аромат курящихся благовоний, перечно-резкие ноты пряностей перемежаются запахами цветов, а в дыме кизячных печурок вдруг слышится запах слегка подгоревшей лепёшки-чапати.

Конечно, всегда есть места, где какие-то запахи преобладают. Если зайти в один из многочисленных храмов – там, скорее всего, будет пахнуть цветами и молоком. То и другое – подношения божествам, чьи изваяния глядят на вошедших бесстрастно-пустыми глазами. Но молочные плошки, расставленные там и сям, делают эти кумирни уютно-домашними: индуистские боги кажутся кем-то вроде котят, чьё равнодушие можно порой растопить чашкой сладкого буйволиного молока.

В торговых рядах пахнет тем, чем торгуют. В обувных лавках – кожей, в магазинах, торгующих тканями – нафталином, в аптеках – душистыми травами, в дешёвых цирюльнях – одеколоном и потом. Но, какой запах ни взять – он настолько живой, полнокровный и сильный, что порой начинает казаться: первичны здесь именно запахи. То есть всё, что ты видишь и всё, что ты можешь пощупать – есть как бы сгущения и воплощения запахов, есть осадок неуловимо-летучего, тонкого мира, который мы с вами привыкли считать чем-то второстепенным, побочным – но который, возможно, на самом-то деле является первоисточником и колыбелью всего. Запах летуч, эфемерен, бесплотен и вездесущ – то есть он обладает качествами души. Не потому ли и возникают такие созвучия между иными из запахов – и настроением, памятью, чувством?

Видимо, Индия больше, чем прочие страны, обращена к невещественному – в том числе к запахам. Она ими живет, ими дышит, она им радуется – не потому ли индусы с непостижимою нам простотою относятся и к болезням, и к смерти? Может быть, тонкий мир им понятнее, ближе – чем мир вещественный, грубо-телесный? Ведь нам, чересчур “уплотнившимся”, застыт взгляд иллюзии материального мира, и нам с вами трудно представить, как можно жить по-иному.

То, как запахи в Индии сосуществуют, как они живут рядом, не подавляя, а дополняя друг друга – наводит на мысли о том, как и люди умеют здесь уживаться друг с другом. При такой тесноте, при такой пестроте населения, какую встречаешь здесь всюду, от столицы до дальней деревни – поразительно, как всё же терпимо и миролюбиво живут в Индии люди. Конечно, проблем хватает и здесь; тамилы и сикхские экстремисты, мусульмане Кашмира, да и просто-напросто криминальные элементы, которые неизбежны в любой стране и в любом обществе – всё это в Индии есть. Но в целом, при всём многолюдье, Индия производит впечатление на редкость спокойной и дружелюбной стра-

ны. Как вдоль шумной индийской улицы всегда течёт сложный поток разных запахов, в котором смешано всё, от зловония до благовония — так и индийская жизнь сплетена из множества разных обычаев, взглядов и вер, не просто сосуществующих, но ещё и способных друг друга дополнить и оттенить.

Так что здешние запахи — точнее сказать, их живая и сложная смесь — есть своего рода портрет Индии. По-настоящему эту страну нужно именно чувствовать, узнать не глазами, не слухом, не мыслью — а именно нюхом, тем способом, что нам достался от предков-охотников и который настолько уместен в пахучей и пряной, живой, удивительной Индии.

Мусор

Для многих Индия — земля грязи и мусора; “Индия и нечистоты” едва ли не самая частая тема рассказов у тех, кто вернулся из этой страны.

Да что там европейцы или американцы, привыкшие жить совершенно стерильно, на наш взгляд, жизнью; даже мы, русские — а уж нас-то чистюлями трудно назвать, — и то, по индийским меркам, знать не знаем, что такое грязь, теснота, нищета. Пишу это без всякой иронии: мы с вами и впрямь живём в очень чистой, богатой, комфортной и тихой стране; кто не верит — пусть съездит в Индию.

Итак, нечистоты и мусор. Этого добра в Индии действительно много; скажем, по улице старого города трудно пройти, не наступив на чьё-либо дерьмо — собачье, коровье или человеческое. Свалки — на каждом углу; и на этих свалках, как на лужайках, пасутся коровы.

Есть ещё городская деталь, непривычная нашему глазу: сухие русла рек, которые тоже завалены мусором разного рода. В сухой сезон они превращаются в пыльные свалки; зато в сезон дождей вода смыкает весь мусор в Гангу, а уж этот великий индийский дренаж уносит его в океан.

Порой кажется: Индия тонет в мусоре и вот-вот утонет совсем. Отбросы, которые остаются от жизни людей и животных — а те и другие плодятся с огромною скоростью — грозят превратить города в безобразные свалки, кишашие крысами. Но всё дело в том, что отношение к грязи и к мусору в Индии совершенно особое. Вот, например, придорожная лужа: она состоит даже не из воды, а из какой-то густой и лоснящейся жижи. Камешек, брошенный в эту лужу, издаёт не всплеск, а утробное чавканье. Думаешь: это же рай для микробиологов и паразитологов: как много открытий ожидает их здесь! А теперь посмотрите, как смуглый индус, в замызганной набедренной повязке, присел, чтобы справить на берегу этой лужи нужду, затем — обязательно левой рукою! — подмылся, а затем стал намыливать своё тощее тело, черпая всё ту же густую и жирную воду.

Или вот тоже весьма характерное зрелище: посмотрите, как молодая женщина в ярко-оранжевом сари месит руками навоз — чтоб налепить из него кизячих лепёшек и затем разложить их сушиться на солнце. Её пальцы — в кольцах, запястья — в сверкающих звонких браслетах; красавице и в голову не придёт, что она занята чем-то грязным и недостойным. Навоз для неё всего-навсего часть того мира, в котором она живёт и частью которого ощущает саму же себя.

Для индусов, по сути-то дела, нет грязи и мусора как таковых, а есть лишь различные формы и превращения предметов материального мира — которых, в свою очередь, тоже нет, а есть только некий мираж, некий сон божества, в котором нам — снимающимся Бrame! — лишь снится, что нас окружают какие-то вещи или явления.

В каком-то смысле можно сказать, что мусор и грязь в Индию завезли англичане. Колонизаторы постарались привить на туземную почву тот образ мысли и то восприятие мира, при котором есть “я”, человек — и есть внешний мир, мне враждебный и противоположный. И вот когда я отношусь к миру как потребитель — то есть беру из него то, что мне кажется нужным, и выбрасываю негодное — тогда и появляется мусор, как нечто лишнее, то, что не нужно ни мне, ни окружающему миру. Но для индуса, чья цель — растворение в мире и перетекание в него, нет резкой границы меж ним — и вот этой, к примеру, собакой, или этим вот деревом, что укрывает его своей тенью, и вот этой рекой, что так сильно и сонно течёт к океану. “Тат твам аси”, “то — есть ты сам” — вот главный принцип и стержень индусского мировоззрения.

И какой же тогда может быть мусор — то есть нечто негодное, лишнее — когда в мире лишнего нет ничего, когда всё во всё перетекает и превращается; или, что то же самое, в мире нет вообще ничего, кроме зыбкой игры миражей, кроме сонных бессмысленных грёз, что приходят к тому, кто не просто спит сам, но кто, спящий — лишь снится кому-то?

В этом смысле мусора в Индии нет вообще; или уж тогда всё, что мы видим вокруг — все эти дома, города, поезда, горы, реки — всё это тоже есть мусор, есть нечто, лишённое цели и смысла.

Рассуждения эти могли бы казаться надуманной заумью — если б они не подтверждались на каждом шагу. Вот я сижу в Харидваре, на каменном гхате-причале над Гангой, и смотрю, как индусы нескончаемой чередой подходят, чтоб поклониться священной реке. У большинства в руках или цветы, или плошка с густым молоком, которое тонкой стружкой льют в быструю реку — или миска, в которой мерцает свечной огонёк и которую надо пустить по воде. А вон у той босой девушки в розовом сари, кроме обычных даров, ещё и большая пластиковая сумка. Интересно, думаешь, что же эта красавица принесла в дар священной реке? Девушка гибко склоняется, шепчет молитву, омывает водою чело — и высыпает содержимое сумки в Гангу. Не веришь глазам: по воде, закрутившись, поплыли какие-то корки, очистки, подмётки, пакеты, бинты и прокладки — поплыл, словом, мусор! По нашим понятиям, это почти то же самое, что опрокинуть помойное ведро на алтарь; но то, что было б кощунством для нас, совершенно в порядке вещей для индусов — не знающих мусора.

Цвета

Вот ещё испытание для европейца: избыточность, яркость, назойливость цвета. Недаром павлин является государственным символом Индии: кажется, и вся страна раскрашена, как малярною кистью, именно сочным павлиньим хвостом.

Как с непривычки от шума улицы иногда хочется закрыть уши, от злобония — зажать ноздри, так и от яркости цвета, что бьёт по глазам, хочется порою зажмуриться. Кажется, именно Индия — место рождения красок. Слово весь их набор, весь их солнечный спектр возник именно здесь — и отсюда, неизбежно при этом тускнея и угасая, краски начали распространяться по миру.

Так что где, как не здесь, любоваться цветами, их чистой, беспримесно-яркою сутью — где, как не в Индии, вспомнить, какими должны быть живые и настоящие краски? Зайдётся, например, в лавку тканей, где стены от пола до потолка завешаны ярким узорочьем шёлка — и в глазах зарябит от орнаментов и немислимых красочных переливов. Узоры закружатся и поплывут в оглушённых такой пестротой глазах — по кругу, быстрее и быстрее, заскользят изумрудные, красные, жёлтые змейки...

И это тебе ещё даже не начинали показывать ткани! Подожди-подожди: если только задержишься, если чуть пошатнёшься — а головокружение здесь неизбежно — то тебе тут же скажут: “Sit down, sir!” — и укажут рукой на ковёр. Опустись на податливый ворс — и пара служителей без промедленья начнёт демонстрацию. Откуда-то из-за спины, жестом фокусников они будут выхватывать штуки свёрнутых тканей — и широким, торжественным взмахом раскатывать их пред тобой. За всю свою жизнь я припомню немного столь же волнующих, странных минут: когда от тебя в нафталиновый сумрак начинают лоснящимся веером — или павлиньим хвостом! — течь волнистые реки живых, переливчатых, нежных цветов, когда ты сидишь в эпицентре бесшумного, но ослепительно-яркого взрыва. Как там восклицал Гоголь: дайте мне, дескать, другое перо?! — но, боюсь, нет таких перьев, что смогли б передать это буйство, безумие, яркость цветов, это чувство того, что ты вдруг оказался сидящим на крыле тропической бабочки, которая вот-вот взлетит, унося тебя в совершенно другие — с иными законами цвета — пространства...

Такою же дверью в иное порой представляются женщины в сари. Ибо индийская женщина — это, прежде всего, вспышка цвета; всё остальное — лицо, формы тела, движения рук или ног — поначалу почти незаметны на фоне того, как горят эти краски на шёлке, как льются и дышат все эти яркие складки — и как, цветовыми рефlekсами, озарены лица тех, кто находится рядом. Близ женщины, скажем, в оранжевом сари на лицах лежит апельсиновый отб-

леск, рядом с красавицей в изумрудных одеждах лица приобретают цвет бледной листвы, а огненно-красное сари заставляет всех как бы зардеться невольною краской стыда.

Что ни возьмись вспоминать и описывать — лавку ли зеленщика, или ювелирный, сияющий золотом и самоцветами магазин, или то, как раскрашены в Индии грузовики и автобусы, — будет всегда ощущаться нехватка эпитетов: наш обиходный язык слишком сдержан и строг в отношении цвета. Но, с другой стороны, цветовой настрой русской души чем-то близок индийской палитре. Вспомните наши матрёшки и самовары, цветные платки и цветастые юбки, жостовские подносы или огненные шкатулки из Палеха: нельзя не отметить созвучия русских цветов и цветов Индостана.

А уж храмовая архитектура — точнее сказать, храмовая раскраска далёкой Индии — имеет в России своего полномочного представителя: кажется, что Василий Блаженный в Москве раскрашен индийскими малярами. Эта гроздь разноцветных затейливых луковок, венчающих храм, кажется сорванной в Индии и пересаженной в наши снега — где она чудом выжила и расцвела, да ещё стала одним из русских национальных символов. Недаром же Бунин, писатель по преимуществу именно цветового восприятия мира, в “Чистом понедельнике” выстроил именно эту — поразительно верную! — цветовую дугу: “Москва, Астрахань, Персия, Индия...”

Но главный красочный взрыв, апофеоз цвета в Индии — конечно же, праздник “холи”. Его ещё называют “карнавал красок”; и не забудем, что он происходит в стране, заурядные будни которой уже представляются нам неким праздником цвета.

В главный день праздника Индию охватывает цветочное безумие. Все, от мала и до велика, начинают посыпать друг друга красными, синими, жёлтыми и зелёными порошками — и обрызгивать крашеною водой. Остаться некрашеным в этот день невозможно; а уж если ты иностранец, то будь уверен: скоро ты будешь похож на ходячую выставку красок. Да что люди — праздник холи не забывает и о животных! По улицам носятся синие, красные и оранжевые собаки, а на боках невозмутимо бредущих коров нарисованы разноцветные карты неведомых, сказочных стран — хоть, казалось бы, что может быть сказочней самой Индии, да ещё в праздник холи?

Индусам словно мало того, что их мир и так буйно-красочен, празднично ярко; нет, им хочется сделать его ещё ярче и праздничней — сделать так, чтобы серые будни никогда уже не возвратились. Как дети раскрашивают бледные контурные картинки — размашисто, щедро, не соблюдая порою ни меры, ни правдоподобия, ни границ — так и индусы, похоже, хотят превратить тот контур мира, что нам дан изначально, в насыщенно-яркую, красочную картину.

Женщины

Теперь — женщины. О праздничной яркости их одежд уже сказано — но нельзя не сказать и о яркости лиц. Мало того, что женские лица здесь, в Индии, и сами собой словно светятся — белки глаз яркие, взгляды радостны, зубы жемчужны — так эти лица ещё и украшены, словно витрины. По темени, между аспидно-чёрных волос горит ярко-карминный пробор, во лбу светится алое пятнышко, в левой ноздре — золотое кольцо, по смуглым щекам бьют, звеня и сверкая, тяжёлые гроздья серёг, а шея отчёркнута яркой радугой бус — так, что лицо индусской красавицы представляется даже не столько твореньем природы, сколько сложным и несколько вычурным произведением искусства.

Не забыто и тело. Браслеты звенят и сверкают повсюду, где только возможно: и на обеих руках, от локтей до запястий, и на смуглых лодыжках. Женщинам Индии, кажется, жаль, что у них только по две руки и ноги; будь конечностей больше, нашлись бы места для иных украшений. Недаром своим божествам индусы так щедро раздали по несколько пар лишних рук; а что есть образ бога — как не мечта человека о самом же себе?

А кольца? Мало того, что ими унизаны чуть ли не все пальцы рук — так ещё и на длинных, не сдавленных обувью пальцах женской ноги непременно увидишь кольца, обычно серебряные: их матовый блеск хорошо сочетается с красным, лаковым цветом ногтей.

Но всего поразительней то, что в таком вот торжественном сари, похуже скорей на парадную тогу богини, чем на бытовую одежду, во всём этом

блеске браслетов и ожерелий, черепаховых гребней и звонких серёг, мерцания поясов и колец, во всей этой яркой раскраске ногтей, рук и щёк – индусские женщины месят навоз или доят коров, рыхлят землю мотыгой или носят на голове неохватных размеров корзины с бельём, кизяком, овощами. То есть в самом нарядном и праздничном виде индуски нередко работают самую грязную и непростую работу. Как это возможно – и как вообще можно двигаться, заматавшись в пятиметровое сари? – есть одна из загадок таинственной этой страны.

Женщину в Индии называют “склад украшений”, имея в виду, что, за неимением сейфов для хранения ценностей всё, чем богата семья – серебро, золото, драгоценные камни – надевают на женщину. Но, скорее, тогда уж не склад, а ходячая ювелирная выставка; только выставка эта способна ещё разительно-звонко смеяться и петь, танцевать – да и просто сводить с ума своим ярким и умным, насмешливо-радостным взглядом.

Для меня несомненно: индийские женщины – это главное чудо страны. Здесь, спустя тысячи лет после эры матриархата, снова чувствуешь: женщина есть божество. Нет, конечно, я знаю всё то, чем можно разрушить моё утверждение. Я знаю, что, скажем, в жене, не родившей мужу ребёнка, здесь не видят полноценного члена семьи. Я знаю, что ещё в девятнадцатом веке сожжение вдовы живо, вместе с усопшим супругом – было обычным и одобряемым делом. Я знаю и о многожёнстве, и о том, как здесь не желают рождения девочки – потому что это сулит семье в будущем только убытки: поди-ка, скопи на приданое, да на свадьбу – я знаю многое из того, чем унижена женщина в Индии. Но, даже зная всё это, нельзя не почувствовать царственность и неприступность красавиц, которые, словно павы из сказки, ступают по грязным, загаженным улицам – и к которым не пристаёт эта грязь, эта пыль, этот скучный и будничный мусор. К ним не пристаёт даже похоть: индийская женщина, кажется, окружена неким облаком целомудрия.

Эротика, как нарочитого разжигания похоти, в Индии нет вообще: это ясно любому, кто здесь побывал. Считать, что “Камасутра” и барельефы Кхаджурахо задают тон здешней жизни – всё равно, что верить в медведей, бродящих по улицам русских селений. За всё время моего пребывания в Индии я ни разу не видел ни женской коленки, ни поцелуя на людях, ни двусмысленно-томного и порочного взгляда – ничего из того, чем буквально напитана жизнь старой доброй Европы.

Целомудрие Индии простирается вплоть до того, что в делийском метро женщинам отводят отдельные вагоны – для того, чтоб не подвергать женскую скромность безнравственной и унижающей давке. Как-то я второпях залетел в такой женский вагон: от меня тотчас отвели взгляды и посторонились, словно я был прокажённым. Да у нас, зайти я хоть в женскую баню – и то не возникло б такого единодушного отторженья мужчины как инородного тела.

Конечно, это память о матриархате, о тех временах, когда женщина была главой рода – и помыкала мужчинами по своему усмотрению. До сих пор, кстати – и в штате Керала, и в некоторых гималайских районах – сохранился уклад многожёнства, когда женщины открыто допускают к себе разных мужчин (для каждого определён его день) и рожают от них детей – которые юридически числятся детьми её брата.

Написал сейчас это – и тут же вспомнил нечто противоположное: предположение стать многожёнцем. Ехал я как-то с гор в битком набитом кузове пыльного грузовичка. Вокруг меня шевелилось, смеялось, болтало множество молодых женщин, детей – которые вели себя очень свободно, не страдая ни от тесноты, ни от моего присутствия. Слово за слово, разговорился с соседками. “Сколько же у тебя жён?” – с интересом спросили меня. И узнав, что жена только одна – все семь или восемь моих собеседниц стали буквально валиться от смеха! “Only one!” – “Только одна!” – восклицали они, показывая на меня пальцами и так хохоча, словно в жизни своей не слыхали ничего смешнее. Казалось, грузовичок сейчас свалится в пропасть – такой рёв дружного хохота раздавался над его кузовом. Или вполне мог бы начаться горный обвал – причиной которому была бы моя моногамность.

Кое-как успокоившись, изнеможённые смехом – вспышки которого ещё порой раздавались там-сям, – женщины стали выпрашивать дальше. “И что же она у тебя – беленькая?” – с хитрецей улыбались они. “Ну да”, – отвечал я, ещё не понимая, к чему они клонят. “Так возьми, для пары, тёмненькую –

хоть вот эту!” — и ко мне, хохоча, начинали подталкивать смуглую молодую красавицу в синем хлопковом сари.

Вы, может быть, спросите, что было дальше? Но о продолжении этой весёлой истории я умолчу: должны же у меня — как и у Индии — быть свои тайны...

Чай и другая еда

Да, вот именно так: чай и другая еда. Ибо чай в Индии — не столько напиток, сколько полноценная пища: пяти-шести чашек в день достаточно, чтоб ощущать себя бодрим и сытым.

На привычный нам чай он похож только названием. Стоит сесть, скажем, в поезд — тут же слышишь протяжные крики чайных разносчиков, пробирающихся с большими чайниками по проходу вагона. “Чаи-и, чаи-и” — выводят они нараспев, с ударением на конце слова — и это едва ли не самая популярная в Индии песня.

Первый глоток того, что тебе наливают в обмен на бумажку в пять рупий — восторга не вызывает. Это, по сути, не чай, а кипячёное молоко: очень сладкое, жирное, с острым перечным вкусом масалы. От чая в нём, кажется, только бежевый тон, да чаинка, случайно попавшая между зубами.

Но ко всему в жизни можно привыкнуть. Выпив несколько чашек — а порции здесь вдвое меньше российских: примерно сто граммов — уже начинаешь ценить, до чего же питателен, мягок и густ этот славный напиток, как он прибавляет упругости взгляду и бодрости телу.

А через несколько дней начинаешь уже разбираться и в разновидностях здешнего чая. Уже понимаешь, что чай в поездах — очень бледная копия того оригинала, который предлагают тебе где-нибудь в старом квартале, под скулющую дудочку заклинателя кобр, сняв кастрюльку с кизячной жаровни, поболтав этот пенный отвар — у нас бы сказали: “чифир на молоке” — и наливая его тонкой струйкой сквозь сито в подставленный глиняный черепок. Кажется, сама древность Индии протянула тебе в тонкой смуглой руке эту чашку густого и сладкого,пряного чая. Та же рука предлагает присесть на скамеечку — здесь же, на тротуаре, у кучи сухого навоза — и ты пьёшь чай медленно, оцепенело и зачарованно глядя туда же, куда глядят все — коровы и заклинатель змей, нищие и скучающие торговцы, куда глядят даже три кобры, чьи капюшоны мерно покачиваются над плетёной корзиной — глядя в ничто, в никуда, в пустоту...

В Индии можно жить одним чаем — особенно, если привыкнешь к его характерному вкусу и запаху и не забудешь просить продавца: “Сахару мне, дружище — поменьше...” Но, справедливости ради, надо отметить, что в Индии есть и кое-какая другая еда. Например, чапати — лепёшки из пресного теста. Они совершенно безвкусны, но этим-то и хороши. Ведь только пресной лепёшкой можно хоть как-то смягчить остроту чечевичной похлёбки, народной индийской еды. Эта похлёбка густа, словно каша, и подаётся обыкновенно на широких кожистых листьях — с которых индусы её подбирают кусками лепёшки-чапати. Едят быстро — кто стоя, кто сидя на корточках — и, когда смотришь на эту народную трапезу, а то и участвуешь в ней, то можно подумать: это всё происходит не в центре громадного современного мегаполиса — а где-нибудь в джунглях, в конце мезолита.

Чем ещё я кормился? Конечно, ел ласси, сладкую простоквашу, которая так хороша в жаркий полдень: утоляют сразу и жажда, и голод. Иногда брал тали: поднос, где вокруг кучки пресного риса расставлены плошки с подливами и овощами. Но подливы настолько остры, что, кажется, капли случайно на брюки — прожжёшь в них дыру.

А чаще всего мой обед состоял из грозди зеленых, невзрачных, но сладких бананов. Есть их на улице было забавно: тут же подходила какая-нибудь корова и шумно вздыхала над ухом, ожидая банановую кожуру — которую забирала с ладони шершавым и мокрым своим языком. Вот обезьяны, те были не столь деликатны — они вполне могли и стащить мой обед. Недаром в популярных здесь “roof-top” — ресторанах на крышах — приносят, вместе с заказом, ещё и бамбуковую палку. Удивишься: “Зачем?” А официант, удивившись твоему удивлению, поясняет: “Как зачем? Отгонять обезьян”.

Но главное даже не в том, как называются местные кушанья, как они выглядят и каковы на вкус — главное в том, что в Индии почти совершенно

не хочется есть. Это тем более странно, что голод всегда был навязчивым спутником прежних моих путешествий. Перемена мест, языка, обстановки и климата, встречи с десятками новых людей – это всё вызывало почти непрерывное и знобящее, как лихорадка, желание что-нибудь съесть. А вот в Индии чувство голода странным образом притупляется – может быть, оттого, что в индийской цивилизации вообще нет столь привычного для европейца культа еды. Едят здесь немного, едят, в основном, безубойную пищу; и выражение “есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть” подходит к Индии как нельзя лучше. Недаром именно в Индии появились, как многие верят, “солнцееды” – то есть те, кто совсем отказался от пищи и получает энергию напрямую от солнца.

Но оставим их, солнцеедов, греться на солнышке – я-то думаю, что в их случае речь идёт лишь о длительном, растянувшемся на несколько месяцев, голодании, но никак не о полном отказе от пищи – вспомним лучше о том, как радушны индусы, как они любят, умеют, хотя угостить. Когда едешь в поезде, в общем вагоне – а я провёл в поездах, в совокупности, несколько суток – то будь уверен: соседи предложат тебе разделить с ними трапезу. “Послушайте, – сказали мне в первый же день путешествия. – Мы же видим, что вы с утра ничего не ели. Возьмите, попробуйте нашего риса...”

Дороги

Коли речь зашла о дорогах, поговорим о них поподробнее. Первое впечатление от большого вокзала такое: кажется, что ты вдруг перенёсся в Россию военной поры – фашисты вот-вот войдут в город – и вокзал охвачен безумием спешной эвакуации. Перроны забиты битком, народ тащит сумки, узлы и коробки, кто-то лёг, обессилев, буквально в ногах у снующих людей, кто-то лезет в окно переполненного вагона, все что-то кричат и кого-то зовут, давит зной, духота, босоногие дети хватают тебя за рукав, очередной проплывающий мимо состав раскалён, как горячая сковорода, в этой неразберихе ничего не понять, найти нужный поезд нет никакой возможности – а отправление через восемь минут! – и вот-вот, кажется, ты окончательно потеряешь рассудок... То, что сейчас происходит вокруг, точнее всего назвать словом “хаос”, а то, что случилось с тобой – словом “шок”.

Но, как ни странно, удаётся разыскать и свой поезд, и вагон класса “sleeper” – типа наших плацкартных – и даже забраться по чьим-то спинам и головам на свою третью полку. Минут десять уходит на то, чтобы отдышаться и отереть пот – поезд за это время уж тронулся, и в проходе вагона заголосили разносчики чая – а потом можно и осмотреться. Вагон непривычен. Он выше нашего – нет труб отопления под потолком, поэтому здесь помещаются три пассажирские полки. Внизу нет столика, и это добавляет пространства. Зато к потолку приделаны три вентилятора: видно, что борьба с духотой и жарой здесь так же важна, как у нас, в России – борьба с холодом.

Удивляет, что между вагонами нет дверей. Туалета не два, как у нас, на вагон, а четыре, и санитарное их состояние, кстати, довольно приличное. Наружные двери открываются совершенно свободно: индусы нередко сидят, свесив ноги с подножек летящего над полями вагона, а ветер индийских полей гуляет в вагоне, гоняет бумажки и всяческий мусор (его здесь свободно бросают на пол), и треплет узорные яркие ткани индийских одежд.

Скоро в вагоне осваиваешься настолько, что он тебе кажется домом: многолюдным и тесным, но зато дружелюбным, весёлым, живым. А уж индусы, они и подавно ведут себя здесь, словно в собственном доме: болтают и спят, кормят грудью детей, заразительно-звонко смеются или поют мелодично-протяжные гимны, звонят по мобильникам (а мобильники есть даже у многих нищих) или пьют чай, медитируют или работают с ноутбуками – в общем, живут полноценной, ничем не стеснённой жизнью. Можно сказать, что, немало поездив по Индии в общих вагонах – я побывал у индусов в домах, смог почувствовать тон, настроенье, уклад их повседневного существования. И живут они – это чувствуешь сразу – легко. Во всяком случае, куда легче нас, русских, для которых угрюмоватая озабоченность и осторожность лиц стала едва ли не отличительным признаком нации. А индусы способны легко рассмеяться, запеть, заговорить с незнакомцем и угостить его чем Бог послал, способны заснуть даже в давке и духоте – и во всей этой лёгкой, живой и ес-

тественно-гибкой пластичности их душ и тел ощущаешь бодрящую юность и свежесть одного из древнейших на свете народов.

А может, индусы живут так легко и свободно как раз потому, что не слишком привязаны к жизни? Жизнь для них является в полном смысле подарком — то есть тем, без чего, в крайнем случае, можно и обойтись — но, если уж этот дар нам вручен, то надо его принимать с благодарною, детскою радостью, и не задавать этих глупых вопросов: зачем, почему, для чего?

Мы-то с вами как будто забыли, что жить надо легко — в этом и состоит её, жизни, высшая мудрость — и что тревога и озабоченность есть тот яд, который исподволь, но неизбежно лишает нас самого важного — радости. Жизнь действительно слишком трагична для того, чтобы к ней относиться всерьёз.

В вагоне индийского поезда ехать можно, кажется, целую вечность: потому что не может наскучить волшебное чувство полёта по-над мостами и реками, мимо посёлков и деревень, над манящею зеленью сонных полей, в отблесках мелкой воды над посадками риса, мимо башенок-храмов из красного камня. Поезд мчит быстро, колёса отстукивают двойной такт — который подбадривает и успокаивает одновременно — вагон раскачивается и скрипит, чересполосица света и тени бежит по проходу, и в эти минуты на душу нисходит глубокий покой — тот, ради которого, может быть, мы и пускаемся в путешествие. Зреет странное чувство: что тебя в мире уже как бы нет — есть только твой удивлённый и радостно всё замечающий взгляд; и в этой свободе от груза собственной жизни есть невыразимая, высшая радость — предвестие, может быть, радости нашего будущего существования. . .

Но довольно о поездах: в Индии приходилось путешествовать и по-иному. И на автобусах — вот тоже, кстати, индийское чудо: спальный автобус, в котором можно не только сидеть, откинувшись в кресле, но можно и спать, развалившись на полке — и на рикшах, и на мотоциклах, и на плотках по Ганге.

Главное средство передвижения в Индии — трёхколёсные рикши. Они бывают двух видов: на бензиновой и на мускульной тяге. Первые — моторикши — это наши родные мотороллеры “Вятка”, на которые поставлены жестяные будки, способные вместить двух-трёх иностранцев — или человек восемь индусов. Как эти восемь вмещаются в тесную будку, и как слабосильный мотор способен тянуть такой груз, и как эта шумная куча людей не заваливается вместе с повозкой на первом же повороте — это всё из области неразрешимых индийских загадок. Скрипучее, ветхое сооружение оглушительно тарыхтит, чадит синим выхлопом и почти непрерывно сигналист — так, словно клаксон и является главной движущей силой этого, ярко раскрашенного и готового вот-вот развалиться, трёхколёсного драндулета. Но ехать на нём очень весело, потому что езда на моторикше попирает все законы механики, физики, да и просто здравого смысла. Умом понимаешь, что “это” ехать не может — но “оно” всё же едет, да ещё с таким залихватским задором и радостным шумом, что любая поездка превращается в эпизод короткого помешательства, в лёгкий приступ безумия, которое хочется испытать вновь и вновь.

А есть велорикши. Ощущение от езды на них совершенно иное — и для меня, не привыкшего ездить на людях, скорее тягостное. Взгромождаешься со своим рюкзаком на высокое, узкое и неудобное сиденье — и перед тобой начинает качаться худая, покрытая потом спина. Тяжело видеть и слышать, как трудно, со скрипом, прожимаются педали, и как хрипло дышит трудяга-индус. Для того чтобы взбодриться, все велорикши жуют “халу” — это листья бетеля в смеси с мелко нарезанными грибами и ещё чем-то вроде горчицы — от этой наркотической смеси зубы рикш быстро чернеют, белки глаз и слюна становятся красными, а жизнь — короткой. Рикша время от времени, повернув голову вбок, сплёвывает густую слюну — и на пыльную землю летит ярко-красный плевок. Кажется, за те гроши, что ты заплатишь ему, человек отдаёт свою кровь и жизнь. Поэтому я всегда, когда мог, избегал нанимать велорикш. Да и вообще: если б я знал, куда ехать по закоулкам старых кварталов, мне было бы проще самому нажимать на педали. Всё-таки из нас, русских, не вытравить убеждения в том, что все люди братья, и что грех превращать человека в подобие ездового животного. Надеюсь, что те англичане, которые завели здесь, в Индии, моду на рикш — на том свете таскают повозки с чертями.

Вообще индусы производят впечатление людей, на подъём очень лёгких — и то сказать: нищему собраться — только подпоясаться — и поэтому кажется: вся страна находится в непрерывном движении. Все куда-то идут или едут,

и жизнь как дорога есть даже и не метафора, а совершенно буквальная истина Индии. Может быть, это всё оттого, что я посещал места всеиндийских святынь, куда стекаются сотни тысяч и миллионы паломников — и где-нибудь в иных местах жизнь индусов казалась бы неподвижно-оседлой; но, как бы то ни было, чувство того, что жизнь есть движение, что даже смерть есть всего только станция, так сказать, пересадки, после которой наш путь неизбежно продолжится — это чувство живой и подвижной, текущей, как Ганга, изменчивой, но не скудеющей жизни было одним из отраднейших чувств путешествия в Индию.

Нищие

А кого, путешествуя в Индии, видишь чаще всего? Конечно же, нищих. Их множество в поездах и на улицах, на гхатах у Ганги и на обочинах пыльных дорог, на вокзальных перронах и возле храмов, на свалках и рынках — короче, повсюду.

Возможно, что нищие и отношение к ним — это главное, что отличает индийскую цивилизацию от европейской (и, тем более, американской). Не вдаваясь в оттенки, можно сказать: если в Европе нищие есть отброс общества — и относятся к ним соответственно, как к “отбракованному”, пусть порою и вызывающему сострадание, человеческому “материалу” — то в Индии нищие составляют ядро, сердцевину страны, они представляют, как это ни странно звучит, духовную элиту народа.

Достаточно посмотреть на их лица, походку и жесты, чтобы почувствовать: это — цари. При том, что они действительно нищие — кроме посоха и котелка, плаща и двух-трёх одеял, у них нет ничего — достоинства и благородства у этих людей больше, чем у иных президентов.

Если, скажем, у нас видишь нищих всегда с тягостным чувством, потому что за каждым из них угадывается какая-либо трагедия — чаще всего алкогольный распад человека, — и невозможно отделаться от стыда и неловкости, даже от смутного чувства вины за то, что один из людей, наших братьев, почти потерял человеческий облик и оказался на самом дне жизни — то в Индии нищета воспринимается по-иному. Разумеется, я понимаю, что нищие в Индии разные — есть там и бедолаги, подобные нашим — но всё-таки, в основной своей части, индийское нищенство есть духовный, осознанный выбор людей. И поэтому нищие (их называют здесь садху) занимают в общественной иерархии и сознании ступень едва ли не высшую. И подаяние им — это поклонение, почти то же самое, что и подношение богам в многочисленных храмах: то есть жест, в котором нуждается, прежде всего, подающий. Не случайно многие нищие и наряжаются в индуистских богов. То видишь нищего-Шиву с трезубцем в руке и с тремя синими полосами поперёк смуглого лба (это все шиваистские символы), то нищего — Ханумана, весьма чтимого здесь обезьяньего бога, в красных одеждах, с раскрашенным по-обезьяньи лицом и с ужимками старой макаки. Никто в этом не видит кощунства (представим на миг, что европейские нищий иль нищенка нарядились бы в Иисуса Христа или Деву Марию) — но такое отождествление нищего с богом представляется в Индии совершенно естественным. Можно сказать, что индийские нищие воплощают идеалы народа — такие, как нестяжание, миролюбие и воздержанность — то есть являются, в самом буквальном смысле, носителями национальной идеи. Поэтому не удивительно благоговейное к ним отношение, поэтому совершенно естественно то, что самые мудрые и благородно-красивые лица, самые проникновенные, радостно-светлые взгляды встречаешь у нищих.

Садху живут в ритме солнца. В ночной темноте можно даже и не заметить лежащих людей: они выглядят, как неподвижные серые свёртки, которых множество и по обочинам, и по набережным, и по тротуарам. Но, лишь только восток начинает светлеть, и ночь отступает — из этих свёртков, потягиваясь и сладко зевая, один за другим выбираются нищие-садху. Как из куколочек вылупляются бабочки — так из пыльных своих одеял выбирают эти в большинстве своём очень красивые люди. Как раз к этому времени по улицам начинается тянуть сладковатым дымком от кизячных жаровен — и настает час утреннего чаепития. Можно сказать, что нищие чаёвничают по-барски: в постели, ещё не умывшись и не причесавшись. Приятно смотреть, как неторопливо и вкусно пьют чай садху, как они сладко жмурятся, поднося к губам гли-

няный черепок, как причмокивают губами и как поглядывают на восток: не показалось ли солнце, их верный товарищ и брат?

Восход отмечают, по возможности, омовением. Гладь Ганги утром матово-серебриста; но, когда холм багрового солнца поднимается над горизонтом и вырастает в малиново-бархатный диск — тогда по живому, скользящему телу реки ложится сеть розовых бликов, и даже туман, что клубится над Гангой, обретает слегка розоватый оттенок. Это самое время раздеться, зайти по пояс в реку и плеснуть водой в сторону восходящего солнца, как бы помогая светилу умыться, согнать дурман ночных снов и начать день с ясной, по-детски счастливой улыбки.

Затем совершающий омовение нищий трижды окунается с головой — и, счастливый, выходит на берег. Неряшливости, как это ни странно, среди здешних нищих почти не увидишь. Так, расчёсывание волос — в том числе и бороды, которая нередко укладывается в сложно-затейливую косицу — для индийского нищего превращается в многозначительный, долгий процесс. Кажется, что, наводя порядок в своей шевелюре, садху наводит порядок, ни много ни мало, во всём мироздании.

Ну, что же: солнце уже высоко, улицы все оживленнее: значит, пора приступать к сбору милостыни. Интересно, что чувствует нищий, что думает он — сидя часами на теневой стороне шумной улицы, как бы на берегу человеческой многоголосой реки? Одно можно сказать наверняка: и мысли, и чувства у нищих не тягостны, не депрессивны — потому что среди сотен их лиц ты не встретишь лица озабоченно-хмурого, недовольного, злого. Напротив: лица нищих так светлы и радостны, они несут в себе столько покоя и благоволения к жизни, что можно часами смотреть в их глаза — ощущая, как и в тебе самом прибавляется радости жизни.

Возможно, их главное дело — бытийная, так сказать, роль нищих в Индии — в том как раз и состоит, чтобы нести людям радость, чтобы напоминать о том, как прекрасна жизнь сама по себе, жизнь, не обременённая ни тяжестью, ни гордыней, не искажённая страстью или злобой. По сути, каждый из нищих в Индии — настоящих, с духовной задачей нищих, а не тех попрошайек, которых, конечно же, можно встретить везде, — каждый садху является фабрикой радости. А без такого продукта, как радость, ни человек, ни семья, ни страна, ни народ жить не могут. Можно завалить всех одеждой и яствами, понастроить домов, понаделать машин и компьютеров — но если в душах нет радости, то весь этот хлам человеку не только не нужен, но попросту вреден. Недаром число депрессий и суицидов в материально благополучных странах — той же Скандинавии или Соединённых Штатах — неизмеримо выше, чем в бедной, но не забывшей о радости Индии.

Ближе к полудню, когда приближается время сиесты, многие садху поднимаются с насиженных мест и не спеша идут к пунктам кормёжки. Отрадно видеть, что страна не забывает о своих нищих — что она кормит их, как солдат в промежутках между боями. Это сравнение мне пришло потому, что нищие выстраиваются в очередь перед сооружением, очень напоминающим солдатскую походную кухню — и кашевар, гремя половником о миски, бросает в них порции чечевичной похлёбки. Садху степенно, с достоинством подходят к полевой кухне, благосклонно кивают кашевару-раздатчику — давай-давай, дескать, парень, не жмись! — а потом присаживаются в тенёчке и начинают куском пресной лепёшки зачерпывать густую похлёбку. На выходе с пункта кормления обыкновенно стоит ещё и человек, вручающий каждому нищему десять рупий на чай (один стакан чая стоит, напомним, пять рупий) — но многие отказываются от этой чайной подачки. “Оставь, парень, эту мелочь себе, — как бы говорят они, царственным жестом поднимая ладонь. — Уж на чашку-то чая я денег всегда раздобуду у этих вот (лукавый, смеющийся взгляд в мою сторону) белых туристов...”

После обеда спит вся страна — спят и нищие. Ложатся они там же, где и сидели — на тротуарах, обочинах, набережных — а рядом с ними, в тенёчке, укладываются собаки, коровы и козы. Вообще нищие часто окружены животными. “Это мои друзья!” — объясняют они туристам, лихорадочно щёлкающим фотоаппаратами; и порою сквозь мусорный весь затрапез, сквозь все нечистоты и вонь шумной улицы начинает мерещиться и проступать нечто райское: грезится мир, где животные не боятся людей, люди любят и не обижают животных, и все они вместе живут, образуя единую как бы семью. Ко-

нечно, до агнца и льва, что мирно резвятся бок о бок, пока далеко – но шаг в направлении этой мечты уже сделан.

После дневного сна – снова чай, и опять омовение. Вообще мытью рук, ног, лица индусы уделяют много внимания: видно, иначе не выжить в стране с таким риском кишечных и прочих инфекций. К тому времени, как завершится послеполуночное чаепитие и омовение в Ганге, солнце уже начинает клониться к закату, и наступает едва ли не лучшее в Индии время. Понемногу уходит жара, но москиты ещё не проснулись; уличный шум то ли впрямь затихает – то ли просто-напросто утомлённый твой слух уже не различает отдельных звуков, а воспринимает лишь некий общий и слаженный гул, навевающий в душу покой и неспешно-вечерние мысли. Хорошее время для созерцаний: и садху в предвечерние эти часы нередко предаются медитации.

Правда, у нищих есть ещё способ расслабиться. Чуть смеркается, как по гхатам над Гангой начинает тянуть сладковато-смолистым дымком конопля. Здесь редко курят траву поодиночке – чаще садятся по двое, по трое – слушается, что и тебе помашут рукой, предлагая присоединиться: “Эй, друг – садись к нам! Марь-Иванну не хочешь?” Так здесь, русским именем, называют марихуану, которую курят или в глиняных трубках ценой по пять рупий штука, или в виде набитых травой косяков-сигарет.

Но в Индии есть наркотик и позабористей, чем конопля. Это кинофабрика Болливуд и те фильмы, что она выпускает в неимоверном количестве. По вечерам перед каждым кафе, где работает телевизор – то есть на каждом шагу – можно видеть толпы людей, в том числе множество нищих, которые, открыв рты – причём это буквальное, а не фигуральное выражение, – погружаются в грёзы экрана. Можно сказать, что те фильмы, которые жители Индии смотрят на сон грядущий – это вечерняя сказка, которую им рассказывает страна. Глядя на то, как доверчиво и восхищённо индусы смотрят кино, как они бурно переживают всю ту чепуху, что мелькает на пёстром экране – глядя на это, и можно почувствовать: какие же, в сущности, это всё дети...

Народ-дитя

И вот здесь мы выходим на важную тему. Мысль “народ как дитя” объясняет многое из того, что доводится видеть, узнать и почувствовать в Индии.

Ну вот, например, простота и открытость в отношении естественных надобностей – то, что шокирует иностранцев, – но ведь именно так и трёхлетние дети справляют нужду, не смущаясь чьим-либо присутствием. Присесть на краю тротуара, спустив порты или приподняв подол сари, для жителя Индии так же естественно, как для нас прилюдно высморкаться или откашляться. Поначалу оно, верно, как-то смущает – но к естественному привыкаешь быстро (“что естественно, то не безобразно” – говорили, помнится, в дни моей юности), и скоро ты сам уж почти готов впасть вместе с индусами в детство и не слишком стыдиться того, к чему понуждает тебя естество.

Или возьмём культ животных, столь органичный для Индии. Кажется, тут нет ни одного представителя фауны, который не был бы обожествлён. Тут и обезьяний бог Хануман, и слоноголовый Ганеши, и Мать-корова, и священный бык Нанди – и ещё множество прочих животных-богов. Но ведь такое одушевление животных, олицетворение их как раз характерно для детского восприятия мира. Да, в детстве мы верим в лису Патрикеевну и медведя Топтыгина – но, повзрослев, нам уже трудноато представить, как это лягушка превратилась в царевну, или как золотая рыбка повелевала морской стихией. А вот индусы, судя по благоговейному их отношению к живности всякого рода, по обилию изображений животных-богов на стенах храмов, по тем подношениям, что паломники возлагают животным-кумирам, – в конце концов, судя по вере в переселение душ – индусы и по сей день убеждены в том, что животных и человека мало что, в сущности, разделяет. Во всяком случае, та граница, которую западное сознание полагает меж человеческим и животным мирами – в индуистском мировоззрении гораздо более прозрачна и легко преодолима.

Не забуду удивительной сцены исповеди в Золотом храме Варанаси. К статуе коровы, исполненной в натуральную величину, выстроилась длинная очередь исповедников – очень напоминающая очередь к исповеди в православ-

ном храме накануне большого праздника. И так же смиренно и сокрушённо, как перед священником, индусы поочерёдно склонялись, но не под епитрахиль батюшки, как у нас — а к коровьему уху. Все они, с выраженьем глубокой серьёзности в лицах — выраженьем, вообще-то не свойственным жизнерадостным и весёлым индусам, — выговаривали корове то, что у них наболело и накопилось на сердце. Причём в этой исповеди корове не было ничего игрового — но была безусловная, детская вера в могущество сил, заключённых в животных, и в то, что животные могут влиять на судьбу человека.

А разве не детской является тяга индусов к ярким цветам, украшениям, блёсткам — тяга к тому, чтоб украсить весь мир, как большую игрушку? Уж на что, казалось бы, взрослая вещь — грузовик с длинномерным прицепом; но любой трейлер в Индии разукрашен, как новогодняя ёлка. Всюду, где только возможно, от лобового стекла до выхлопной трубы, развешаны блёстки и зеркала, разноцветные кисти и бахрома, и всё — каждый дюйм! — раскрашено яркими красками. Тут и узоры, и пятна кислотных расцветок, и огнедышащие драконы, и кобры, раздувшие свои капюшоны, и слоны, восседающие на крысах (это традиционное изображение бога Ганеши), вепри и рыбы (воплощения бога Вишну) — в общем, каждый из грузовиков своей живописною яркостью напоминает индуистский храм на колёсах.

Но Индия молода ещё и в самом прямом, демографическом смысле: средний возраст её жителей — тридцать лет. И здесь — это очень заметно — царит настоящий культ школ и школьников. Как я выше писал, что главные в Индии люди — это нищие-садху, которые своей жизнью и обликом воплощают высокие идеалы народа, так же точно можно сказать, что главные в Индии — дети. Когда вдоль по улице бежит шумная стайка школьников в униформе брусничного цвета, то остро чувствуешь: у Индии есть живое, здоровое будущее. Глаза детей оченьмышлёны, улыбки белые, выражения лиц полны жизни и радости; и всё это, взятое вместе, заставляет тебя восхититься неувядающей юностью Индии — и одновременно испытать боль стыда за озлобленно-вялых, безрадостных русских детей.

Но не будем о грустном. Лучше укажем ещё на одну из “детских” черт Индии — на целомудрие. Даже трудно взять в толк, почему, при свободно-раскованном отношении к физиологии, скажем, пищеварения — области половых отношений скрыта завесой стыдливости и умолчания. Ни во взглядах, ни в разговорах, ни в жестах, ни в рекламе услуг и товаров — нигде здесь не встретить двусмысленно-пошлой игривости, которая наполняет собой европейскую жизнь. Индия в целом так целомудренна — что именно этим она заставляет нас вспомнить о рае, о том времени, когда пресловутое яблоко ещё не было сорвано, и его сладкий сок ещё не потёк по щекам Евы.

Вот в этом-то и заключается та заветная мысль, к которой я двигаюсь в этой главе. Индусы, насколько возможно понять и почувствовать — это народ, живущий ещё как бы до грехопадения, это народ-дитя. Поразительным образом Индия, страна, может быть, самой древней цивилизации на планете — сохранила себя в состоянии райского детства и детства, она не вкусила запретного плода, она сохранила себя той же самой, какую Господь и создал эту дивную землю и этих красивых людей. Не случайно же и в индийской мифологии — сложнейшей, подробнейшей и изобильной на всякого рода сюжеты — нет мифа о грехопадении, мифа, центрального для духовной культуры Европы.

Может быть, именно в этом — разгадка того, почему христианство не укрепились в Индии, стране незлобиво-смирненной и мягкой, вполне христианской по духу? Христос пришёл спасать падших, то есть нас с вами, наследников эллинско-иудейского мира: Его проповедь и призыв, Его, в конце концов, крестная смерть посвящены тем, кто утратил связь с Богом и изгнан из рая. А индусы и так душою и телом живут ещё как бы в раю.

В Индии соблазнительно-сладкое яблоко ещё только зреет на ветке, и змей-искуситель, похоже, ещё поджидает индийских Адама и Еву. Потому, может быть, нас и тянет так в эту страну: мы хотим ещё на земле и при жизни ощутить дуновение рая, почувствовать то, какой была жизнь в незапамятно-давнее время — точнее, ещё до начала времён — и какой она сможет стать вновь, если мы, с Божьей помощью, вырвемся из паутины греха.

Смерть

Где зашла речь о грехе — там неизбежны и мысли о смерти. А смерть в Индии, её наиболее впечатляющий образ — это костры Варанаси.

Горят они круглые сутки, и можно их видеть хоть утром, хоть днём; но в памяти остаётся именно ночная кремация. Маникарника-гхат — это главное место сожжения умерших, это, можно сказать, космодром, откуда души усопших возносятся вместе с огнём на индийское небо. Костры горят здесь на трёх уровнях, трёх площадках над Гангой — иногда их пылают пять-шесть одновременно — и главные звуки, которые слышишь здесь в сумерках: это треск прогорающих дров и скелетов — и музыка от соседних причалов, где празднуют ежевечернее поклонение Ганге.

Очень важно не торопиться, оставить дурную манеру глотать впечатления, подавить в себе суетливое любопытство туриста — а просто присесть чуть в сторонке от жарких костров и посидеть часа два или три, размышляя как бы ни о чём: то есть привести себя в состояние созерцательного покоя. И осознание того, что здесь, вместе с дровами, горят и людские тела, уже не будет тебя очень сильно смущать — как оно не смущает индусов.

Обряд кремации сдержанно-прост — в этом и заключается строгая красота ритуала. Вот чьи-то ноги, торчащие из охваченных пламенем дров, отгорели, упали — и служитель спокойно, при помощи двух длинных палок, перебрал обугленные стопы в центр пылающего костра. Точно так мы, бывало, сидя у своих походных костров, перебрасывали в сердцевину огня отгоревшие сучья. Мёртвое тело здесь, в Индии, не вызывает ни благоговейного ужаса, ни особой брезгливости: прах, он и есть прах, и к нему надлежит относиться спокойно и просто.

Как проходит кремация? Если человек умирает в священном городе Варанаси — а это самая большая удача, какая может выпасть на долю индуса, — то в сопровождении сыновей и племянников (женщин к обряду не допускают) носилки с телом относят на Маникарника-гхат. Здесь покойный совершает последнее омовение: носилки с усопшим притапливают в Ганге, и воды священной реки в последний раз касаются тела, которое скоро исчезнет. Затем носилки ставят на место просушки — сохнуть покойный будет около часа, — а родственники тем временем направляются в полицейский участок, чтобы зафиксировать там факт смерти.

Старший сын бреет голову наголо и облачается в белые траурные одежды. Впечатляет табурет уличного цирюльника, рядом с которым лежит копна чёрных волос: это сколько же, думаешь, осиротевших индусов успело сегодня обречься...

Пока всё это происходит, служители складывают костёр. Дрова для погребальных костров — главный, наряду с шёлком, объект купли-продажи в Варанаси. Цена и качество дров, разумеется, разные — мало кто может позволить себе быть сожжённым на чистом сандале — да и количество дров, необходимое для полноценной кремации, тоже различно. Индусы, как правило, сухощавы и малорослы, и полутора центнеров дров хватает, что называется, за глаза. “А сколько пойдёт на меня?” — спросил я служителя, хлопотавшего у поленницы дров. Меня деловито окинули взглядом и просто сказали: “Двести двадцать кило”. Заметив, как меня передёрнуло от такой точности и простоты, индус дружелюбно добавил: “Это немного. Иному из вас и четырёхсот будет мало”.

По всему берегу Ганги в окрестностях Маникарника-гхат высятся дровяные поленницы, и стоят у причалов лодки, гружённые топливом. Их разгружают неторопливо, аккуратно складывая из дров очередную поленницу — словно каждый из грузчиков осознаёт, что он не просто работает, а мостит путь в вечность для тех, кто скоро уляжется вот на эти сухие, как раз в человеческий рост, кривоватые жерди.

Когда покойник обсох — его, вместе с носилками, возлагают на дровяной пьедестал. Зажигать костёр — дело старшего сына. С длинным пучком тростниковой соломы он идёт к жертвеннику бога Шивы, огонь на котором непрерывно горит уже не одну тысячу лет. Солома вспыхивает от углей жертвенника, и сын поспешает обратно: надо успеть, пока полыхает соломенный факел. Вот он сует факел под жерди костра — и, под действием тяги и тёплого ветра, что веет от Ганги, пламя вмиг разливается по сухим дровам. Пелены, которы-

ми покрыт покойный, вспыхивают и взлетают — несколько огненных хлопьев уносятся в звёздное небо — и сухощавое тёмное тело остаётся совсем обнажённым. То, как невозмутимо, спокойно усопший лежит в центре гудящего и беснующегося костра, напоминает сеанс медитации. Ничто мирское — никакие гримасы и пляски обманчивой Майи — уже неспособно нарушить глубокий покой мертвеца. . .

Этот покой — эманация смерти — влияет на всех, наблюдающих процедуру сожжения. В самом деле: смешно суетиться и думать о суетном, видя финал своих суетных дел и легко представляя, как сам, в скором будущем, будешь лежать на таком вот костре. А огонь горит жарко, напористо: искры вихрем возносятся к звёздам, и кажется, что перед тобой не костёр, а река, чей гудящий напор равнодушно уносит всё бренное к небу — туда, где земной прах размельчается в звёздную пыль и становится частью безбрежной, клубящейся вечности.

Неизбежно приходят и мысли: а какой похоронный обряд предпочтительней, ближе тебе самому? Наш ли, привычный, с могилкой, крестом и оградой, с кладбищенской пышной сиренью, с обилием всех подробностей православного отпевания и погребения — или такой, очищающе-огненный, после которого остаётся лишь горсть невесомого пепла? Пока я здесь, в Индии, пока я дышу её воздухом и говорю на её языке — конечно, мне ближе костры Варанаси. Всё же есть разница: быть закопанным в землю, к червям и корням и пройти там, во тьме, смрадный путь разложения — или быстро и чисто сгореть на огне. Итог всё равно будет тем же — ведь гниение, по химической сути, есть то же горение, только очень неспешное.

Да и то сказать: могилы и всё, что связано с ними — нужны живым, а не мёртвым. Это нам, тем, кто пока ещё живы, нужно особое место для встречи с усопшим и с собственной памятью, нужно, чтоб было куда приходиться на родительскую субботу и где выпить чарку за упокой родных душ. Но, с другой стороны, как много горького можно увидеть на кладбище, где одни могилы пребывают в мерзости запустения — а другие раздражают свою помпезностью. Даже перед лицом смерти мы часто не можем преодолеть того, что нас разделяет — имущественного, скажем, неравенства, даже на кладбище мы порой продолжаем цепляться за жалкие призраки власти, богатства и земного благополучия. Огонь в этом смысле — большой демократ. От любого индуса, будь то последний бродяга или знаменитый на весь мир Махатма Ганди, не остаётся, в материальном смысле, вообще ничего — что, конечно же, очень достойно.

Пока мы так рассуждали, наш костёр почти догорел. Старший сын — бритый наголо, в белых одеждах — палками выкатывает из костра ещё не сгоревшую кость — может быть, челюсть или позвонок? — и на тех же двух палках несёт её к Ганге. С коротким шипением кость падает в воду — это и означает, что обряд кремации завершён. Пепел служители сдвинут поближе к воде, очищая кострище для нового тела, и этот серый, мерцающий углями пепел будет здесь до утра остывать. Сбрасывать в Гангу его пока рано, потому что ещё предстоит извлечь из него слитки золота и серебра — остатки тех украшений, что были на мёртвом. Маникарника-гхат — это самый прибыльный золотой и серебряный прииск Индии, то место, где круглые сутки идёт добыча драгоценных металлов.

Но Бог с ним, с золотом — дело не в нём. Дело в том чувстве покоя, которое наполняет здесь, кажется, всё: и сами костры, и их отражения в Ганге, и лодки, с которых туристы глазят на древний обряд, и всю эту тёплую ночь, полную звуков, огней и задумчивой неги — в том чувстве покоя, которое наполняет любого, кто долго сидел у костров Варанаси. О чём говорит душе этот покой? О том, что всё совершается правильно — здесь жгут усопших, неподалёку поют и танцуют, жизнь и смерть катят своё колесо — и то исчезновение мёртвого тела, которое только что, с лёгкостью фокуса, совершилось на наших глазах — оно ничего не меняет в порядке вещей. Да, смерть меняет лишь форму, но вовсе не суть, не бессмертное содержание нашего с вами существования.

Мысль не нова — все великие мудрецы, от Платона до Шопенгауэра, не уставали её повторять — но здесь, в этой тёплой ночи, озарённой кострами, её понимаешь не просто рассудком, а всем существом. Смерти, в сущности, нет — вот о чём говорят нам костры Варанаси.

Ганга

Да, смерти нет. А есть эта тёплая ночь, полная звуков и запахов жизни, и есть Ганга под тусклою, дынного цвета луной – Ганга, чьи молчаливые и мутноватые воды движутся так, как течёт само время: незаметно и неудержимо.

Ганга – главный объект поклонения в Индии. Если, скажем, христианин, отвечая в кратчайшей форме на вопрос о существовании своей веры, должен сказать: “Я верю в Троицу: Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа” – то правоверный индус, отвечая на тот же вопрос, может ответить: “Я верю в Гангу...”

Исток Ганги, как принято думать, на небе: тот Млечный путь, что мы видим в безлунные ясные ночи – это и есть начало великой реки. Мифология здесь не так уж и далека от реальности: Ганга действительно начинается с заблачных высей – колыбелью ей служат глетчеры Гималаев – и, сливаясь из нескольких мощных потоков, в районе священного города Харидвар, она из неистово-горной, бурлящей реки превращается в сонную, невозмутимо-спокойную реку равнины. Можно сказать, что Ганга обнимает собою все формы жизни реки, меняет обличья и собственный нрав – чтобы, в конце концов, обретая всё больше покоя и силы, войти в океан как в нирвану.

То, что Ганга – главнейшее в Индии божество, доказать очень просто: каждый вечер, во всех городах по её берегам, совершаются пуджи, то есть красочные, с танцами и песнопениями, жертвоприношения реке рек. Эти ежевечерние службы так и называются: Ганга-арти, или подношения Ганге. Жертвы здесь, разумеется, мирные – Индия крови не любит – это цветы, молоко и огни. Вся пуджа длится около часа и собирает множество зрителей: люди теснятся на каменных древних ступенях, ведущих к воде, смотрят из окон ближайших домов и наблюдают ритуальное действие с лодок. Жрецов, совершающих богослужение, может быть несколько – в Варанаси, к примеру, их семь – но в целом сценарий всех пудж одинаков. С молитвами в Гангу бросают цветы и льют молоко, затем под ритмичную дробь барабанов расппеваются гимны, а затем начинаются танцы с огнями. В светильниках, видимо, нефть – потому что их огонь ал, а дым густо-чёрен – и когда видишь, как семь полыхающих, огненно-дымных колёс синхронно вращаются под барабанную дробь – словно катятся сквозь разомлевшую ночь – то кажется: именно эти колёса и движут индусскую жизнь, сообщают ей тот монотонно-размеренный ход, который и позволяет стране оставаться на месте (то есть быть верной себе) вот уже многие тысячи лет...

Танец огней, в самом деле, чарует. Но ещё больше трогает тот момент, когда по лоснящейся, масляно-чёрной поверхности Ганги начинают плыть сотни цветочных плотиков-плошек, в сердцевине каждого из которых трепещет свечной огонёк – тогда река начинает напоминать тот Млечный путь, земным продолжением которого и является Ганга.

О Ганге по-настоящему надо писать не главу, а огромную книгу – которая тоже, конечно, не сможет ни исчерпать, ни объять то огромное, сложное и невыразимо-глубокое, что называется Матерью-Гангой. Вся символика и философия Индии, всё, чем живёт её сложный до изощрённости дух – так ли, иначе, не связано с Гангой, питается водами этой священной реки и, в свою очередь, пополняет собой её, Ганги, жизнь.

Европейцев, конечно, шокирует то, что индусам кажется совершенно естественным: когда, на восходе солнца, индусы чистят зубы, моются и стирают бельё, и пьют пригоршнями воду, и пускают плыть детские трупы, и высыпают мусор, и испражняются – в ту же самую реку. Ганга принимает всё, она всё очищает и всех примиряет, для неё нет разницы между чистым и грязным – она словно солнце, которое светит и грешным, и праведным. Не ощутив духа этой священной реки, не проникшись его очищающей, всех равняющей силой, невозможно понять жизнь Индии – жизнь, которая при несказанной её пестроте и запутанной сложности проявляет такую терпимость ко всем воплощениям и существам.

Откуда, куда течёт Ганга? Она перетекает из бесконечности в бесконечность – и ей совершенно нет разницы, что, зачем и куда нести в толще медленных вод, какие тела перекачивать по иловатому дну; её, Гангу, мало интересуют те отражения и миражи, что жизнь оставляет на глади лоснящихся вод. Её не разбудит ни людской гвалт на её берегах, ни даже огни, песнопения и барабаны красочных пудж. У вод Ганги, как и у жизни индуса, нет цели – и в этой бесцельности скрыта и сила её, и её обречённость...

Боги и лингамы

Всё-таки странно, что индуизм не вырос до мировой религии. Являясь едва ли не самой древней религиозной системой на свете, включая в себя более миллиарда верующих – индуизм, тем не менее, ограничен пределами полуострова Индостан и одним государством.

Самое первое впечатление (а оно-то как раз и бывает почти всегда верным) – это то, что в Индии религиозны практически все. Или, иными словами: здесь нельзя жить, не являясь приверженцем индуизма – настолько эта религия растворена в самом воздухе Индии и наполняет собою индийскую жизнь.

Считается, что в индуизме 16 тысяч богов. Разумеется, это весьма приблизительно – приходилось читать и слышать другие цифры – но, в любом случае, пантеон индуизма населен очень густо. Среднему человеку невозможно даже просто запомнить имена всех божеств – не говоря уже о том, чтобы познакомиться с ними поближе. Конечно, среди этих тысяч богов есть главные – такие, как Вишну и Шива – а есть и второстепенные; но само изобилие разных божеств создает совершенно особенный тип и настрой индуистского мировоззрения. Боги всюду, куда ни ступи или ни посмотри; всё, что нас окружает – священо; весь мир пронизан незримыми силами, связями и отношениями; реальность – лишь тонкая плёнка, лежащая на таинственной сути вещей и явлений; от нас в этом мире – всерьёз ничто не зависит... Вот беглый абрис, приблизительный контур индуистского отношения к миру. Порой кажется, что индусы себя ощущают живущими более среди богов, нежели среди людей: согласитесь, большое отличие от европейцев. Мы-то больше живём как-то сами собой, замкнувшись в реальности, как в скорлупе, и гул трансцендентного почти не доходит до наших ушей, оглушённых дурной суетой имманентного мира.

Что прежде всего видишь в Индии, выглянув ли из окна вагона, летящего меж деревень и полей, или высунув голову из конуры моторикши, или просто-напросто остановившись посреди улицы и поведя вокруг взглядом? Увидишь, скорее всего, индуистский храм с треугольным флагом над крышей и со свастикой, древним солярным знаком, чернеющей всюду, где только возможно. Храмы эти бывают не просто маленькими, а крошечными – словно строили их лилипуты – но перед любым, даже самым маленьким храмом обыкновенно увидишь цветы и плошку с молоком – то, чем индусы ублажают своих богов. Ещё больше, чем храмов, в Индии шивалингамов – символических изображений фаллоса бога Шивы – которые здесь буквально всюду: на набережных и тротуарах, в нишах на стенах домов, в магазинных витринах и вдоль обочин дорог. Форма лингамов одна – они все короткие, толстые, как молодой гриб-боровик, а размеры различны: от гигантских многометровых сооружений до совсем крошечных, размером с напёрсток – но к которым относятся, тем не менее, тоже с почтением. По сути, каждый из многочисленных шивалингамов – своего рода храм. Перед ним молятся, на него возлагают цветы, его просят о помощи – то есть делают всё, что положено в храме.

Мне довелось видеть и самый главный лингам, расположенный в Золотом храме Варанаси. Прежде чем войти в этот храм, пришлось вытерпеть такую процедуру досмотра, какой не случалось ни в одном аэропорту – да ещё заполнить подробнейшую анкету. Но эта морока с лихвой окупилась открывшимся зрелищем. Вся территория храма была битком набита людьми – большей частью индусами – а туда, где располагался лингам, было вообще не пробиться. Кое-как протолкавшись в людской потной каше, я всё же увидел то, что всех так привлекало. На полу, в центре каменной ниши, до краёв засыпанной цветами, возвышался скромных размеров лингам – он был с небольшим ведро – а через ограду к нему тянулись сотни смуглых женских рук. Дотянуться до вожделенного фаллоса было непросто – мешали соседки, и цепи ограды, и общая атмосфера горячего возбуждения, что царила в орущей, толкавшейся, жаркой толпе – но когда, наконец, кому-либо из женщин удавалось коснуться лингама – толпу оглашал пронзительный крик! Это был даже не крик, а стон; секунд пять или шесть продолжалось это символическое соитие женщины с Шивой – и за эти секунды начинала истошно орать вся толпа: зрелище ритуального совокупления приводило в иступление сразу многие сотни людей...

При посещении индуистских храмов, при созерцании статуй и изображений всех этих тысяч божеств, приходит странное чувство. Начинает казаться, что, раз богов в Индии так неисчислимо много – то религия, как таковая, почти исчезает. Так, к примеру, разгул демократии – то есть разделение единой энергии власти на миллионы людей – означает, по сути, безвластие; так тайна, принадлежащая многим, перестаёт быть тайной.

Нечто подобное происходит и с многобожием: сакральная, тайная сила чудесного дробится по тысячам разнообразных божеств и оттого неизбежно слабеет. Поэтому от многобожия один шаг до атеизма. Показательна в этом смысле и дружба коммунистического Советского Союза с тогдашней Индией: между многобожием индуизма и атеизмом не было психологически резкой и неодолимой границы.

Цветущая сложность

Но религиозная палитра Индии не ограничена индуизмом. Больше того: Индия не была бы Индией, если бы в её духовном – как и бытовом – существовании не наблюдалось бы поразительно пёстрой смеси различных культур и религий. Как в настоящем индийском соусе должны обязательно присутствовать все четыре основных вкуса – то есть кислый, солёный, горький и сладкий, так и в духовном пространстве этой страны уживается нечто несомнимое.

Вторая по распространённости религия Индии – это ислам. И, хоть цифра в 12 процентов кажется не такой уж большой – не забудем, что в численном выражении это примерно соответствует населению всей современной России. Ислам – религия, противоположная индуизму. Многобожию, пестроте, женственной мягкости и пассивной созерцательности индуизма противостоит сухая, активная, жёсткая непримиримость арабского монотеизма. Разумеется, два эти мира – исламский и индуистский – не могут мирно сосуществовать; проблема “муслим-терроризма” на сегодняшний день – едва ли не самая серьёзная из политических проблем Индии. Но, с другой стороны, при всей напряжённости противоречий, возникающих между исламом и индуизмом, ислам нужен Индии, как некий противовес – или, можно сказать, как закваска бывает нужна для того, чтоб аморфное, женственно-вялое тесто поднялось и обрело бы в себе самом новые, жизненно важные свойства.

Помимо того, что ислам с индуизмом сложно и драматически сосуществуют, создавая энергетически напряженное поле взаимных влияний, не позволяющее Индии лечь в сонный дрейф абсолютной пассивности – по русской пословице, на то и щука в море, чтобы карась не дремал, – но из союза-вражды ислама и индуизма родилось ещё и дитя: религия сикхов.

Сикхизм – это своего рода прививка активного и молодого ислама на древнее и уже обомшелое древо индуизма. Генетически, по своим корням и основам, сикхизм несомненно вырастает из традиционного индуистского мировоззрения. Но психологически сикхизм стоит ближе к исламу. Это религия воинов, которые не расстаются с оружием и в любой миг готовы вступить в безоглядное и решительное сражение. Для классического индуизма такая воинственность непредставима; но, не будь в Индии сикхов, страна имела бы совершенно другую судьбу и иное лицо.

Кстати о лицах: сикхи очень красивы. Спокойная твердость и чувство собственного достоинства выделяют лицо и взгляд сикха в любой, самой пёстрой толпе. А внешние атрибуты – тюрбан, борода и кинжал или сабля – лишь подтверждают, что ты не ошибся, и перед тобой действительно сикх.

Не успеешь налюбоваться на сикхов – как тебя привлекают вдруг люди совершенно иной энергетики. Через толпу, глядя под ноги – чтоб не наступить, не ровён час, на какого-нибудь муравья, – застенчиво-мелкой походкой движется группа людей в белоснежных одеждах и в марлевых масках на лицах. Если сикхи идут, сознавая себя как бы центром всего мироздания – то люди в белом, напротив, стремятся как бы исчезнуть, стать незаметно-бесплотными: чтоб не обидеть кого-нибудь в этом дивно устроенном мире, не нанести вреда какой-нибудь крошке-козявке, не споткнуться б о камень – ибо камень, он тоже живой, и способен почувствовать боль – чтоб пройти свой назначенный путь от рождения и до нирваны максимально легко, незаметно, подобием облака или дуновения ветра.

Это джайны, и их главный принцип – тот же, что и у медиков: “не навреди”. Этот принцип понимается и исполняется ими буквально: скажем, занятия сельским хозяйством, при которых не избежать вторжения в землю, и повреждения там каких-нибудь корешков или червячков – эти занятия джайнам противопоказаны. А правило “ничего нельзя резать” доведено до того, что собственные волосы на голове и на теле джайны не стригут и не бреют, а буквально выщипывают: один волосок за другим.

То, что все джайны вегетарианцы, само собой разумеется. Наиболее продвинутые из них вообще отказались от пищи и питаются только солнечным светом: именно к джайнам относится большинство “солнцеедов”. От комментариев к этой теме я воздержусь: не хочется обижать симпатичных, безвредных людей.

Нам бы поучиться у джайнов тому, как можно бережно, трепетно относиться ко всему мирозданию, включая растения, насекомых и даже камни – как можно бояться непоправимо нарушить что-либо в мире, который создан не нами и который поэтому не нам с вами радикально переделывать и “улучшать”. Единственное, что в нашей власти, и на что мы имеем моральное право – это улучшить самих же себя. Вот этим-то и занимаются джайны; глядя на их просветлённые, скромные, добрые лица – начинаешь и сам мечтать: вот бы перестать есть мясо, и вообще перестать что-либо есть, скинуть одежду да и бродить себе этакой полубесплотную тенью по пыльным индийским дорогам...

Среди множества вер и религий, сосуществующих в Индии, есть и родное нам христианство. Причём христиан не так уж и мало – около двадцати пяти миллионов. То, почему христианство – религия, столь, казалось бы, близкая духу миролюбивой, уступчивой, аскетически нищей страны – не получило здесь, в Индии, широкого распространения – это тема отдельного размышления. Возможно, что не последнюю роль здесь сыграло долгое владычество англичан: трудно полюбить и принять религию, которую исповедуют жадные, бессердечные и самовлюбленные колонизаторы.

Осталось упомянуть ещё буддизм и зороастризм – чтобы завершить беглый обзор важнейших для Индии религиозных систем.

Буддизм, как ни странно, Индия тоже не приняла. Учение, выросшее из индуизма и рождённое индусом Гаутамай, нашедшее первых поклонников здесь же, в Оленьем парке Сарнатха – учение, которое при царе Ашоке являлось даже государственной религией – тем не менее, Индия вытеснила из себя, как инородное тело. Возможно, важнейшая из причин – это то, что буддизм отрицает кастовое деление. Видимо, Индии, для сохранения своего самобытно-национального образа жизни, кастовость необходима: как структура, организующая хаос текучего, пёстрого социума этой огромной и многолюдной страны. С буддизмом Индия перестала бы быть самой собой – и вот именно инстинкт самосохранения заставил индусов отторгнуть буддизм и как бы выдавить его в страны Центральной и Юго-Восточной Азии, где он прекрасно прижился.

Религия огнепоклонников, зороастризм – наследие древних иранцев. Любопытно, что наш Аркаим, прото-город, располагавшийся к югу от нынешнего Магнитогорска, был колыбелью зороастризма; так что одна из крупнейших индийских религий пришла на Индостан с территории современной России. У огнепоклонников всего интереснее их похоронный обряд. Мёртвых не хоронят и не сжигают, а бросают на растерзание грифам, в священные “башни молчания”. Очевидно, что этот обычай сложился среди каменистых, безлесных иранских нагорий, где нельзя ни сжечь мёртвого, ни закопать его в землю. Интересно и то, что современные огнепоклонники связывают со стихией огня повседневную жизнь: так, большинство воротил индийской металлургии – именно зороастрийцы.

Даже самый короткий и беглый обзор тех религий, что существуют в перешней Индии, представляет картину удивительной сложности и пестроты. И ведь всё это органично живёт, развивается, дышит; любая из упомянутых выше религий имеет миллионы последователей – и существование одних ничуть не мешает, а даже способствует процветанию других. Вот это и есть та цветущая сложность, о которой мечтал и так страстно писал наш “византиец” Леонтьев. Наверное, Индия полюбилась бы Константину Леонтьеву ещё больше, чем Константинополь; ибо трудно даже вообразить страну, которая ярче,

чем Индия, могла бы представить весь спектр, всю палитру сосуществующих в бытии человечества религиозных систем.

Природа

С природы, возможно, стоило бы начинать. Во всяком случае, большинство из людей, писавших о национальных образах мира, именно из природы выводили и всё остальное: и душу народа, и его Логос, то есть воплощённое в языке отношение к миру.

Но природа Индии настолько разнообразна, что в ней можно найти сколько угодно посылок для любых умозрительных построений. Тут и горы, и джунгли, и могучие реки с плодороднейшими долинами, и пустыни, и океаническое побережье – словом, в Индии есть почти всё то же самое, что и на всём земном шаре.

Внимательнее всего мне удалось рассмотреть городскую природу. Любая из улиц старого индийского города так полна разнообразною живностью, бегущей, ползающей, прыгающей или летающей, что по старым кварталам бродишь, как по зоопарку – не уставая и не успевая дивиться тому, какое великое множество разнообразных существ живёт вперемешку с людьми. Самые главные здесь, конечно – коровы. Они составляют настолько привычную и непрременную часть городского пейзажа, что, кажется, можно убрать всё вообще остальное, но нельзя удалить из индийского города этих священных животных: не будет коров – город тут же утратит неповторимо-индийскую физиономию.

Нормальное состояние для индийской коровы – лежать посреди тротуара, жуя жвачку и поводя окрест сонным, с густой поволокою, взглядом. В коровах так много спокойствия и невозмутимости, что порой думаешь: главный продукт, который в таком изобилии производят коровы, это даже не молоко – а глубокий, какой-то уже запредельный покой. Ни людская толпа, ни гудки машин или рикш, ни крики уличных зазывал – ничто не способно нарушить ту вязкую дрему, тот длящийся сон наяву, в котором – вне времени, вне суеты – пребывают коровы. Глядя в коровьи глаза – эти озёра смирения и неземного покоя – нельзя не подумать о том, что вся наша жизнь – это Майя, мираж, и что отойти от неё, погрузиться в нирвану, подобную той, в какой пребывают коровы, – есть лучшая доля, предел человеческих наших мечтаний...

Непрременный вопрос, что всегда возникает при виде индийских коров: чем же они кормятся в каменном городе? Ведь на пыльных, истоптанных улицах нет ни травинки, ни кустика; даже козе, и то невозможно найти пропитание. Но, на счастье коров, в городах Индии столько мусорных свалок, а там такое количество органических полусопревших отбросов – что на свалках вполне можно пастьись. Пусть корова и не набьёт себе пузо так, как набила бы где-нибудь на среднерусском зелёном лугу – но с голоду не околеет.

Главные конкуренты коров на мусорных пастбищах-свалках – конечно, собаки. Их в Индии множество – и они, в основном, вегетарианцы. В самом деле: где взять мяса в вегетарианской стране? Ловить разве крыс (которых здесь тоже не счесть) – но собаки индийских трущоб так ленивы, что охотничий промысел им, похоже, не по душе. Собираательство и спокойней, и проще – вот собаки и роются, вместе с коровами, в мусорных кучах.

Но это днём; по ночам же, сбиваясь в немалые стаи и рыская по опустевшим улицам, собаки могут и потрепать припозднившегося пешехода. Так, в городе Богая, посреди тёплой ночи, и я атакован был стаей собак – которые уже начинали рычать и прикусывать меня за штаны. Палки под рукой не оказалось – и я, отмахиваясь рюкзаком от рычащих собак, помню, нервно подумал: “Да, неплохой финал для русского доктора: быть разорванным индийскими псами...”

На моё счастье, подоспел полицейский: бамбуковой палкой он разогнал заскуливших и бросившихся врассыпную собак.

– Спасибо, друг, – поблагодарил я своего спасителя. – А то эти собаки чуть меня не порвали...

– А это вовсе и не собаки, – улыбнулся молодой полицейский.

Подняв брови, я изобразил изумление.

– Это души плохих людей, – объяснил полицейский то, что в Индии ясно даже ребёнку.

– Ну, конечно: реинкарнация! – сообразил, наконец-то, и я.

– Да-да, – засмеялся мой новый знакомый. – На вас нападала чья-то тёмная карма.

И мне, как ни странно, сделалось сразу спокойнее. “Это с собаками – думал я, – страшно. А уж с тёмными душами мы как-нибудь разберёмся...”

Кого ещё много в старых кварталах – особенно возле храмов или в кронах деревьев – так это обезьян. Деревья порой аж трясутся, как будто от сильного ветра, от налетевшей на крону, щебечущей, лающей и непрерывно дерущейся стаи каких-нибудь наглых макак. Обезьян, я заметил, индусы не любят – и это при здешнем-то благоговении ко всему живому – потому что, видно, уж очень достали их эти хитрые и вороватые бестии. Но наблюдать за обезьянами всегда интересно: во всех их ужимках, прыжках, играх и драках так ясно читается пародия на нашу с вами, такую смешную и бестолковую жизнь. Обезьяны враскачку перелетают с ветки на ветку, визжат и кусаются, ищут блох друг у друга, отнимают один у другого бананы, то злобно орут, обнажая клыки, то смачно чешут багровые оmozолелые задницы...

Кроме коров, обезьян и собак, на улицах Индии можно встретить ещё много разных животных. То увидишь слона, который или идёт во главе оглушительно-шумной, танцующей свадьбы, или тащит громадную кучу хвороста – на которой, на самом верху, восседает мальчишка-погонщик. То заметишь стадо свиней, блаженно лежащих на берегу грязной лужи. То услышишь протяжную дудочку заклинателя змей – и сам, зачарованный древним бамбуковым звуком, подойдёшь ближе к плетёным корзинам, в которых шевелятся королевские кобры. Переливчато-тугие, по кругу текущие кольца их тел и ледяные глаза этих жутких рептилий поднимают в душе волну генного страха – того, от которого стыла и кровь твоих пращуров...

А мулы и лошади, что волокут и повозки с людьми, и множество всяческих грузов? А мангусты, которые так быстро мелькают по карнизам старого храма, что оставляют недоумение: действительно ли вон там скользнуло поджарое тельце мангуста – или это качнулась по камню тень ветки?

А птицы? Их тоже множество, и среди них замечаешь как птах, привычных для нас – воробьёв, галок, ласточек, – так и диких: например, попугаев. Когда, скажем, стайка цветных попугайчиков, щебеча, опускается на покрытую мусором землю – то птицы теряются среди ярких пакетов, бутылочных стёкол, обрывков бумаги и тряпок. Зато когда попугаи вдруг шумно взлетят, то мерещится: это сам пёстрый мусор ожил, превратившись в трепещущих, ярких и праздничных птиц.

А на окраине Ришикеша я видел дикого павлина. Там, где тропа уходила в джунгли, вдруг раскрылся шуршащий трясущийся веер, переливавшийся множеством ярких, с цветными разводами, глаз: словно некое многоочитое божество вдруг выглянуло из зелени леса! Но, пока я доставал фотоаппарат, волшебный веер сложился, превратился в охапку сухого гремящего хвороста – и павлин утащил свой диковинный хвост в непролазную чащу.

Я уж не буду описывать всякую мелкую живность – всех этих крыс и летучих мышей, полосатых бурундуков и горластых лягушек, ящериц и пауков – тех, что тоже во множестве бегают, прыгают, ползают даже в самых людных местах, превращая индийский город в какую-то невероятную смесь из людей, насекомых, животных и птиц. То вдруг покажется: ты оказался в жарком, тесном и шумном аду, где миллионы существ обречены на бессмысленную, в конце-то концов, муку индивидуального существования, и где человеческий разум может желать одного: скорее оставить безумное это коловращение, выйти из тягостной цепи рождений – чтоб, наконец, отдохнуть в пустоте и покое нирваны.

А то померещится: наоборот, ты сейчас оказался в раю, где животные, люди и птицы живут в тесном единстве, в раю, где кипит и клубится горячее варево жизни...

Искусство

Поговорив о природе, пора вспомнить и об искусстве – то есть о том, что создано в Индии человеком. И вот тут надо сразу сказать: я не видел столь же естественных стран – то есть столь же простых, органично-непринуждённых во многих явлениях жизни и быта – но и не знаю стран столь же искус-

ственных. Ибо в Индии, кажется, приукрашено всё, от ладоней и пяток индусских красавиц до разноцветных коров и собак в праздник холи. На всём, что ты видишь, лежит след и печать человеческого стремления сделать мир лучше, наряднее, чем он уже есть.

Самым неожиданным подтверждением этого является то, как в Индии оформляют и украшают навоз. Ведь кизяк – это главное здешнее топливо, и повсюду, от улиц Дели и до распоследней деревни, сохнут лепёшки, бруски и шары, вылепленные из навоза. Шатёр или конус, или “поленица” из кизяка – едва ли не главная деталь индийского пейзажа. Так вот, эти кизячные кучи, шатры, пирамиды всегда оформлены с ласкающей глаз гармоничностью. То из бурых лепёшек сухого дерьма выложен некий узор по зелёной траве, то по стенке кизячного холмика пущен забавный орнамент, то гирлянда цветов украшает то, что, на взгляд европейца, является лишь нечистотами. Но почти невозможно увидеть кизяк как таковой, не оформленный и не приукрашенный, не возведённый рукой человека в ранг некоего произведения искусства.

О том, как украшено всё остальное – хоть лица женщин, хоть кабины грузовиков, – мне уже приходилось писать. Отдельная тема – индийские храмы. Когда видишь росписи стен и особенно храмовые скульптуры – то, вместе с чувством диковинной экзотичности этих всех многоруких и многоголовых божеств, узнаёшь ещё нечто, до боли знакомое. Я долго не мог подобрать подходящего определения для всех этих нечеловечески-радостных лиц, их сияющих взглядов, торжественных поз – пока не нащупал то, что, как мне кажется, выражает холодноватый и чем-то пугающий пафос индийской храмовой скульптуры. Это всё религиозный соцреализм – правды жизни в котором не больше, чем в советском классическом соцреализме времён “Кавалера Золотой звезды” или “Кубанских казаков”. Эти лица, которые радостно смотрят поверх тебя, вдале, в никуда – они словно шествуют к некой неведомой цели, для достижения которой не только не нужен конкретный, живой человек – например, ты, смотрящий на эти скульптуры с оцепенелостью кролика, оказавшегося перед удавом, – но всякий живой человек является только помехой для “дивного нового мира”, чьим символом служат прекрасные и бессердечные эти кумиры. Остро чувствуешь, что невозможно любить эти лица – как можно, скажем, сердечно любить лики наших икон, наших Казанских, Владимирских, Иверских Богородиц; потому что “соцреализм” – это мир, вычитающий человека.

Но оставим идеологию. Поговорим лучше о самом массовом виде искусства – кино. Здесь Индии тоже найдётся, чем нас удивить. Ближе к вечеру, когда остывает и зной, и суета дневной жизни, улицы индийских городов превращаются в площадки для кинопросмотров. Перед любым из кафе, где есть телевизор – а он есть везде, – собираются толпы людей, привлечённые очередным болливудским шедевром. (Для тех, кто, быть может, не знает: Болливуд – крупнейшая кинофабрика в мире, которая по количеству выпускаемых фильмов заткнула за пояс даже американский Голливуд.) Смотрят боевики или мелодрамы; и смотрят буквально с открытыми ртами, с таким вниманием, самозабвением и сочувствием к происходящему на экране, с каким могут смотреть кино только дети.

Нам-то с вами – взрослым, воспитанным всё-таки на классическом реализме, – смотреть эти фильмы почти невозможно. Это яркая и слащавая смесь танцев, выстрелов, музыки, драк, жеманных объятий и поцелуев, пронзительных взглядов – в общем, то, что мы привыкли считать дурным вкусом и китчем. А для индусов никакой это не китч – это сказка. И как “Махабхарата” и “Рамаяна” – книги, составляющие Священное Писание, Библию Индии – представляют собой бесконечную вязь из волшебных историй, так и те фильмы, что в изобилии создаёт Болливуд, есть одна бесконечная сказка, есть то, что так сладко баюкает, тешит и радует душу индуса. Каждая из показанных на экране историй имеет хороший конец, добро всегда привлекательно, зло безобразно, после каждой из киноисторий просветлённые лица зрителей полны благодарного и счастливого изнеможения – в общем, влияние искусства на массы здесь именно то, о каком можно только мечтать.

Но для того, чтобы так внимать киносказкам, чтобы с такой благодарностью пить этот сладкий сироп – надо, прежде всего, сохранить в душе изначально-наивное, детское отношение к миру. Надо быть чистым, доверчивым, добрым – как в детстве. Мы-то с вами уже постарели, мы больше не

верим ни в добрую фею, ни в Деда Мороза – не верим, сказать откровенно, почти ни во что.

А вот индусы – они ещё верят. Они сохранили ту детскую силу наивности, которая и позволяет выдерживать всю неприглядную грубость реальности, позволяет им жить посреди нищеты, шума, мусора, смерти – жить так, словно этого падшего смертного мира вовсе и не существует...

Сегодня – подарок

О чём написать напоследок? Пожалуй, о радости. Её не хватает нам больше всего – и она же нужна, словно воздух. Без радости наша душа задыхается, сохнет, черствеет; безрадостный человек и безрадостное существование есть какая-то роковая беда и ошибка – недаром и христианство считает уныние смертным грехом.

Радость, можно сказать, это цель и критерий истинного существования. Двигаясь в направлении радости, мы всегда будем знать, что не сбились с пути. И, напротив, как ни умён может быть человек, какие высокие истины он нам ни излагай, и какие высокие принципы ни проповедай – но если в его глазах вместо радости мы видим только скорбь и тоску, то едва ли такой вот носитель уныния пододвинет нас к истинной жизни.

Так вот Индия – это великая фабрика радости. Где ещё вы найдёте такое количество радостных, светлых – да ещё и охотно делящихся с вами радостью – лиц? Где ещё, несмотря на всю бедность и скученность жизни, на весь этот мусор и чад – так отчётливо, сильно звучит нота радости жизни?

И пусть не смущает нас то, что радости – то есть, по сути, движению к Богу – нас может учить страна вовсе не христианская. Бог создал всё – в том числе и индусов, и Индию – и Ему лучше знать, для чего Он так сделал. Пути Его, как известно, неисповедимы, и “много горниц в доме Отца...”

А ведь радость, она как любовь: неожиданна и необъяснима. Её ни купить, ни продать, ни добиться каким-либо внешним усилием: она или есть – или нет, и её появление (как и её угасание) есть великая тайна, которую может постичь уж никак не рассудок – одно только сердце.

Бывало, ко мне, молодому, подскочит цыганка (пришелица из Индии!), ухватит за руку и начнёт бормотать те слова, от которых так сладко занает душа... Помните, как гадают цыганки? “Всё тебе расскажу, сокол мой: и что было, и что ещё будет, и куда путь-дорога лежит, и на чём успокоится сердце...” Это вот самое – “успокоится сердце” – было важнее всего; но гаданье, насколько я помню, до самого главного пункта никогда почему-то не доходило.

Я и поехал-то в Индию, может, затем, чтоб дослушать цыганскую речь – причём на их, цыган, исторической родине – чтоб разведать, узнать, допытаться: а на чём, в самом деле, могло б успокоиться сердце?

За этим же самым, я думаю, в Индию едет и молодая Европа. Отрадно и радостно видеть, что тысячи немцев, французов, испанцев и русских едут в грязную, шумную, нищую эту страну, едут навстречу инфекциям и неудобствам, едут туда, где всё или плавится от невыносимой жары, или закрыто сплошной завесой тропических ливней. Молодёжь ищет рая, мечтает душою почувствовать то состояние детской безгрешности и незапятнанной радости жизни, которое нами почти совершенно утеряно – но зато обретается и сохраняется в Индии.

Живя в Индии, ощущаешь себя, как у нас после бани: чистым внутри и снаружи, спокойным, смягчённым и полным доброжелания к людям и к миру. Чувствуешь, как из души выметается всяческий сор, а то место, которое освободилось – заполняется чистой радостью жизни. Эта радость, она происходит как будто ни от чего: она просто есть, просто дышит в тебе – а ты просто живёшь, сознавая (или не сознавая), что тихая и беспричинная радость и есть воздух сердца, есть то, без чего оно будет всегда беспокойным, больным и несчастным.

Так будем же радостны – благо, у нас есть индийский пример. Будем жить так, как написано на одном из плакатов, который увидел я в Дели: “Вчера – история, завтра – тайна, сегодня – подарок!” Будем жить нынешним – неповторимым и радостным! – днём, ибо только лишь жизнь в настоящем и есть настоящая жизнь.